



Михаил Пришвин  
(1873–1954)

## М. М. Пришвин и Д. Н. Мамин-Сибиряк: к обоснованию поэтической эко-диэтики\*

Олег Васильевич Зырянов 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
Екатеринбург, Россия

Контакт для переписки: [o.v.zyrianov@urfu.ru](mailto:o.v.zyrianov@urfu.ru) 

**Аннотация.** Идея поэтической диэтики, или неразрывной связи продукта творчества и личности самого художника-творца, получает свое обоснование и терминологический статус в рефлексии европейского и русского предромантизма (И. В. Гете, Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский). В трактате «Нечто о поэте и поэзии» (1815–1816) К. Н. Батюшков уже напрямую открыл путь для формирования поэтической эко-диэтики, которая ставит сам «образ жизни» художника в зависимость от его природного окружения и личного эко-сознания. Автор статьи исходит из предположения, что важнейшая роль в развитии художественного эко-сознания принадлежит М. М. Пришвину, а его предтечей на этом пути может рассматриваться Д. Н. Мамин-Сибиряк. В подтверждение данного тезиса предпринят ряд сопоставлений отдельных произведений двух указанных писателей, подчеркивающий факт

\* Статья на основе доклада, представленного на Международной конференции «Михаил Пришвин и современность: персонализм — эго-документ — экосознание» (29–31 мая 2023 г., Институт социально-гуманитарных наук, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия).

их ценностно-мировоззренческой и жанрово-стилевой конвергенции. Для анализа привлекаются, с одной стороны, образ Фомича из очерка Мамина-Сибиряка «Лес», а также система высказываний данного писателя о «чувстве природы», свойственном героям-охотникам, а с другой — целая серия авторских признаков Пришвина из его дневника и очерков «Этажи леса» и «Жизнь человека». На этом основании выявлены корни персональной поэтической «экологии» Пришвина, которые сводятся к двум основным формулам: «наука родственного внимания» и осознание окружающего мира как «великого Дома живых существ». В статье также детально проанализирован прозаический этюд Пришвина «Лоси» (в его детской обработке) в сопоставлении с прецедентным текстом рассказа Мамина-Сибиряка «Емеля-охотник» (1884). В качестве еще одного актуального сюжета заявлено сопоставление двух автобиографических романов — «Кашеева цепь» Пришвина и «Черты из жизни Пепко» Мамина-Сибиряка.

**Ключевые слова:** Пришвин, Мамин-Сибиряк, поэтическая диетика, эко-сознание, аксиология, жанрово-стилевая конвергенция, нарратив

**Цитирование:** Зырянов О. В. 2024. М. М. Пришвин и Д. Н. Мамин-Сибиряк: к обоснованию поэтической эко-диетики // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. Том 10. № 4 (40). С. 42–57. <https://doi.org/10.21684/2411-197X-2024-10-4-42-57>

Поступила 01.09.2024; одобрена 16.09.2024; принята 02.12.2024

## M. M. Prishvin and D. N. Mamin-Sibiryak: towards the rationale of poetic eco-dietics\*

Oleg V. Zyryanov✉

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

Corresponding author: o.v.zyryanov@urfu.ru✉

**Abstract.** The idea of poetic dietetics, or the inextricable connection between the product of creativity and the personality of the artist-creator himself, receives its justification and terminological status in the reflection of European and Russian pre-romanticism. In his treatise *Something about the Poet and Poetry* (1815–1816),

---

\* The article is based on the paper presented at the International Conference *Mikhail Prishvin and Modernity: Personalism — Ego-Document — Ecoconsciousness* (May 29–31, 2023, Institute of Social Sciences and Humanities, University of Tyumen, Tyumen, Russia).

K. N. Batyushkov already directly opened the way for the formation of poetic eco-dietics, which makes the artist's very "way of life" dependent on his natural environment and personal eco-consciousness. The author of this article assumes that the most important role in the development of artistic eco-consciousness belongs to M. M. Prishvin, while D. N. Mamin-Sibiriyak can be considered his forerunner on this path. In support of this thesis, the comparison of their individual works has been made, emphasizing the fact of their value and genre-style convergence. The analysis involves the image of Fomich from Mamin-Sibiriyak's essay *Forest*, as well as the system of statements of this writer about the "sense of nature" characteristic of hero-hunters, and a whole series of Prishvin's confessions from his diary and essays *Forest Floors* and *Human Life*. On this basis, the roots of Prishvin's personal poetic "ecology" are identified, which boil down to the two main formulas: "the science of related attention" and the awareness of the surrounding world as "the great House of living beings." The article also analyzes in detail Prishvin's prose sketch "Moose" from the book *In the Land of Grandfather Mazai* compared to with the precedent text of Mamin-Sibiriyak's story *Emelya the Hunter* (1884). Another topical plot is a comparison of two autobiographical novels — Prishvin's *Kashcheev's Chain* and Mamin-Sibiriyak's *Traits from Pepko's Life*.

**Keywords:** Prishvin, Mamin-Sibiriyak, poetic dietetics, eco-consciousness, axiology, genre-style convergence, narrative

**Citation:** Zyryanov, O. V. (2024). M. M. Prishvin and D. N. Mamin-Sibiriyak: towards the rationale of poetic eco-dietics. *Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanities*, 10(4), 42–57. <https://doi.org/10.21684/2411-197X-2024-10-4-42-57>

Received Sep. 1, 2024; Reviewed Sep. 16, 2024; Accepted Dec. 2, 2024

## Введение

Начнем с прояснения термина «поэтическая диэтика», вынесенного в заглавие данной статьи. Речь идет об идее органичности творческого процесса, о неразрывной связи продукта творчества и личности самого художника-творца. Формирование идеи поэтической диэтики происходит еще в недрах культуры предромантизма. В этой связи напомним знаменитую максиму Н. М. Карамзина о том, что «дурной человек не может быть хорошим автором» [Карамзин, 1964, с. 122]. Целенаправленные попытки Карамзина на посту редактора многочисленных журналов (в т. ч. и для разновозрастной аудитории) воспитать соответствующим образом своего читателя как некоего идеального реципиента произведений автора — это тоже немаловажная составляющая комплексной программы поэтической диэтики. Провозглашенный И. В. Гете принцип «*Dichtung und Wahrheit*»<sup>1</sup> на русской почве под пером В. А. Жуковского получает достаточно емкую и удачную формулировку: «Жизнь и Поэзия одно» [Жуковский, 2000, с. 235]. Приве-

<sup>1</sup> Из названия книги И. В. Гете «Из моей жизни: поэзия и правда» (первое издание 1811 г.).

денная максима из стихотворения поэта «Я Музу юную, бывало...» (1823), конечно, всё из той же самой серии.

Именно романтики отрефлектировали идеи поэтической диэтики и, по сути, придали ей терминологический статус. У нас в России это было осуществлено К. Н. Батюшковым в его знаменитом трактате «Нечто о поэте и поэзии» (1815–1816), вошедшем в первую, прозаическую часть «Опытов в стихах и прозе». Напомним соответствующий фрагмент:

«Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть — Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека.

Я желаю — пускай назовут странным мое желание! — желаю, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую диэтику; одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца. <... > Первое правило сей науки должно быть: живи как пишешь, и пиши как живешь. *Talis hominibus fuit oratio, gualis vita*<sup>1</sup>. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы» [Батюшков, 1989, с. 41].

Как видно, Батюшков не просто связывает акт искусства и «особенный образ жизни» поэта-стихотворца. Он намечает вполне конкретные направления подобной связи, или их органического родства.

В перечне Батюшкова первое место занимает природа:

«Итак, удались от общества, окружи себя природою: в тишине сельской, посреди грубых, неиспорченных нравов читай историю времен протекших, поучайся в печальных летописях мира, узнавай человека и страсти его, но исполнись любви и благоволения ко всему человечеству...» [Батюшков, 1989, с. 41].

Вообще «образ жизни», с точки зрения Батюшкова, «действует сильно и постоянно на талант» [Батюшков, 1989, с. 42]. В другом месте Батюшков более детально расшифровывает сами природные факторы, во многом определяющие «особенный образ жизни» поэта: «Климат, вид неба, воды и земли — всё действует на душу поэта, отверстую для впечатлений» [Батюшков, 1989, с. 44]. Но здесь Батюшков уже, по сути, открывает путь для формирования поэтической эко-диэтики, которая ставит сам тип творческой деятельности художника в прямую зависимость от его природного окружения и персонального эко-сознания.

Практически уже на исходной черте, в своем, так сказать, потенциале идея поэтической диэтики заключала в себе возможность развития экологического сознания, системно-комплексный подход к проблеме экологии человека-художника. Думается, что важнейшую роль в формировании подобного эко-сознания и привития данных идей к уже известному и апробированному романтиками опыту поэтической диэтики принадлежит именно М. М. Пришвину, а его предтечей на этом пути вполне обоснованно может рассматриваться писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк.

---

<sup>1</sup> Перевод: «Такова была речь людей, какова была их жизнь» (изречение Сенеки из «Писем к Луциллию»).

## Методы

Проблема соотношения творчества Пришвина и Мамина-Сибиряка далеко выходит за рамки обозначенной нами темы. Этому вопросу посвящена развернутая статья А. А. Медведева [2019] «Мамин-Сибиряк в дневниковой рефлексии М. М. Пришвина», в которой прослежены различные этапы рецепции творческого наследия уральского писателя, предпринятые Пришвиным на протяжении всей его творческой жизни. Так, достоверно установлено, что первые размышления Пришвина о Мамине-Сибиряке возникают во время его поездки на Урал в 1931 г. Но эти размышления приобретают программный, системно-концептуальный характер, особенно в связи с подготовкой самим Пришвиным текста «Слова о Мамине-Сибиряке» к выступлению в Комиссии по литературному наследию Мамина и в Литературном музее 10 февраля 1940 г. [Медведев, 2019, с. 123–125]:

«фигура Мамина стала одной из ключевых для Пришвина в его писательском самоопределении, самосознании себя как писателя. Финал жизненного пути Мамина Пришвин связывает с началом собственного писательского пути. Для Пришвина значим опыт личного самостояния Мамина, вопреки течениям того времени избежавшего „бездомности“ русской интеллигенции — идеологической оторванности от органики жизни <...> Мамин важен для Пришвина как выразитель „органической“ линии в русской литературе (Толстой, Аксаков) <...> Пришвин осознает себя продолжателем русской классической литературы в лице Мамина в утверждении вечных ценностей (дом, родина, любовь к настоящему, культурная традиция (быт), христианская культура...)» [Медведев, 2019, с. 133].

В дальнейшем мы попытаемся прочертить лишь несколько проблемно-сюжетных линий, связанных с ценностно-мировоззренческой и жанрово-стилевой конвергенцией обоих художников — в аспекте заявленной нами темы поэтической эко-диэтики. В качестве материала для сопоставления будут привлекаться, с одной стороны, дневниковые записи Пришвина, серия его очерков из книг-циклов «Неодетая весна» и «Башмак», а также фрагмент романа «Кашеева цепь», а с другой — очерки и рассказы Мамин-Сибиряка «Лес», «Охотник Емеля», «Богач и Еремка» и др. Применяемые в исследовании методы — сравнительно-исторический, структурно-типологический и феноменологический с использованием принципов нарративного анализа.

## Результаты исследования и их обсуждение

### «Так вот где корни моей „экологии“!»

Первая линия напрашивающегося сопоставления — ценностно-мировоззренческого характера, которая выводит нас к своего рода пантеистическому, или даже религиозно-мистическому, мироощущению Пришвина. Именно Пришвин, как нам кажется, наиболее системно отрефлектировал принцип органической связи художника и мира природы, по сути, выразил мистико-религиозную, если не сказать больше, софиологическую концепцию взаимоотношения личности художника-творца и окружающей его природно-космической стихии. «Какие чудеса там, в глубине природы, из которой я вы-

шел» [Пришвин, 1990, с. 24] — записывает в своем дневнике Пришвин. И не об этом ли его важнейшее кредо, что именно «на границе природы и человека нужно искать Бога» [Пришвин, 1990, с. 16]?

В дневниковой записи от 31 июля 1938 г. находим характерное признание: «Так вот где корни моей „экологии“!». Примечательно, что еще заключенное в кавычки, но уже сугубо персонифицированное понятие «экология» идет у писателя в окружении религиозной идеи «согласия с миром, которым обладает непосредственно каждая тварь», «сознанием единства, преодолевающего жизнь» и, в конечном счете, выводящего к «достижению бессмертия» [Пришвин, 1990, с. 267]. В записи от 28 декабря того же года появляется удачная формулировка, которая станет принципиальной для писателя и во многом объясняющей «мгновения гармонии» как выражение некоего идеала, — это «чувство родственного внимания» [Пришвин, 1990, с. 270]. В записи от 15 июня 1941 г. Пришвин выскажется еще более определенно: «Моя наука есть наука родственного внимания<sup>1</sup>: своеобразия каждого существа» [Пришвин, 1990, с. 299].

«Природа, мир, тайник вселенной» (говоря словами Б. Пастернака) раскрывается у Пришвина исключительно в «перспективе родственного внимания». Так, в дневниковой записи о «синичке на окне», вызывающей в душе художника «необычайное волнение», и прежде всего «от чувства связи их мира и нашего», от того, что «синичка эта есть во мне самом» (19 октября 1939 г.) [Пришвин, 2010, с. 451], нельзя не услышать явные отзвуки тютчевского пантеизма: «Всё во мне, и я во всем» [Тютчев, 1965, с. 75]. Еще в одном рассуждении о том, что «не один человек, но вся природа и в ней всякий род, даже род атомов, протонов и всяких еще более мелких частиц материи, таит в себе носителя лица. В материи нет ничего мертвого, в ней всё живое» (4 мая 1950 г.) [Пришвин, 2016, с. 79], также просматривается очевидная параллель с программной декларацией Тютчева «Не то, что, мните вы, природа...»<sup>2</sup>.

Однако, помимо Тютчева, тут можно вспомнить и других русских писателей — Тургенева и Мамин-Сибиряка, особо ценимых Пришвиным. В данной связи представляются показательными образы Касьяна с Красивой Мечи из одноименного рассказа Тургенева и охотника Фомича из психологического этюда Мамин-Сибиряка «Лес» (1887). Однако вот что примечательно: то, что у предшественников Пришвина излагается чаще всего от лица литературных персонажей, как правило, представителей народа, у Пришвина выражает ценностную позицию самого автора, некую константу его художественной антропологии, а заодно, можно сказать — и космогонии, и софиологии.

<sup>1</sup> Здесь и далее во всех цитатах курсив принадлежит автору статьи. — О. З.

<sup>2</sup> В дневниковой записи от 1 апреля 1942 г. Пришвин отмечает два близких ему в Тютчеве момента: во-первых, то обстоятельство, что у Тютчева с годами «природа и человек соединяются в единство», во-вторых, «борьбу с метафизикой за поэтическую свободу, за цельность, родственное внимание к миру» [Пришвин, 1990, с. 322]. Последнее обстоятельство, акцентированное нами выше, особенно примечательно в плане поэтической эко-диетики.

Для доказательства приведем мысли маминского героя Фомича, которому явно симпатизирует и сам автор-повествователь, неслучайно характеризуя своего героя «пантеистом» и «прозорливым поэтом»:

« — Каждая травка свое место знает... да! < ... > Вот она, премудрость-то, в чем... Мы вот умеем только рубить да ломать, а она, трава-то, тоже поди чувствует по-своему: в ней тоже душа.

— И еще другая премудрость есть, — продолжал этот пантеист, вынимая табакерку: — зашел ты в лес — для тебя мертво всё... И трава, и лес, и кусты — всё мертво. Так я говорю? А это так кажется, потому что всё со страхом затаилось от тебя — и козявка, и птица, и зверушка всякая. Ты, как чума, идешь по лесу-то... да! А вот, если ты этак где-нибудь затихнешь, — всё и покажется, со всех сторон подымется разное живье. И у всякой-то твари свой уголок есть, и у всякой твари свой порядок, и всё на своем месте. Даже это удивительно; что столько в лесу разного живья. Человеку вот тесно, друг друга едят, а тут как вода кипит: и червячок, и козявка, и мушка, и ящерица, и птица... Всякому свой предел. Так-то... А вот человеку некуда деваться. Зачем?..»<sup>1</sup> [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 4, с. 387].

Автор-повествователь в очерке Мамина-Сибиряка вступает в настоящий диалог с живой душой леса. Как результат подобного диалога, этого «чувства связи» природного мира и человеческого, предстает овладевающее душой повествователя «какое-то необыкновенно хорошее и доброе чувство, точно начинаешь жить снова». По его же собственному признанию, «именно здесь, в лесу, вы чувствуете, что в вас затихает и боль, и невзгоды, и заботы, сменяясь свежим и светлым чувством жизни» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 4, с. 386–387]. Но это чувство жизни несомненно поддерживается ощущением единства всего живого, природы как единого и ценностно упорядоченного целого или, по словам главного нашего героя — Пришвина, сознанием экологии как «великого Дома живых существ» [Пришвин, 1986, т. 4, с. 260].

Термин «экология» получает у Пришвина достаточно полное и емкое определение в очерке «Этажи леса» из цикла «Неодетая весна» (1940). Сын писателя Петя на тот момент был ассистентом кафедры экологии, работая под руководством известного профессора-эколога А. Н. Формозова, также он входил в состав отцовской экспедиции, история которой и получила отражение в указанном цикле очерков. Данное обстоятельство заставило Пришвина напрямую поразмышлять над термином «экология»:

«Из биологических наук нас обоих [самого писателя и его сына Петю] больше всего интересовала экология, или учение о доме живых существ („ойкос“ с древнегреческого — „дом“). Но, конечно, каждый из нас понимал это учение о доме животных по-своему.  
< ... >

<sup>1</sup> По поводу последнего недоуменного вопроса «Зачем?», обнаруживающего экзистенциальную пропасть, отделяющую человека от мира природных существ и явлений, опять-таки можно вспомнить Тютчева с его «Певучесть есть в морских волнах ...». Но в данном случае еще более напрашивающейся параллелью представляется лермонтовское признание из стихотворения «Валерик»: «Жалкий человек. / Чего он хочет!.. небо ясно, / Под небом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует он — зачем?» [Лермонтов, 1975, с. 94].

Петю интересовало взаимоотношение животных со своей средой... <...> Меня же увлекала самая сказка этой удивительной науки, страстное желание своими глазами повидать, своими словами рассказать о домике каждого животного, может быть, и растения, и все эти домики соединить в ландшафт страны. Мне хотелось, чтобы ландшафтом не только бы праздно любовались, когда захочется, а чтобы ландшафт раскрывался перед всеми, как Дом живущих на земле растений, животных, человека. Это необъятно широкая задача, вытекающая из недр моей родственной связи с природой, мучительно требовала уточнения, ясного понимания, за что взяться, с чего начать» [Пришвин, 1986, т. 4, с. 260].

Именно в диалоге со своим сыном, а точнее, с его естественнонаучным подходом к пониманию экологии, во многом определился чисто художнический, во многом даже «сказочный», присущий именно писателю, взгляд Пришвина на окружающий мир как «Дом живых существ».

### «Чувство родственного внимания к другому человеку»

Вторая линия сопоставления Пришвина и Мамин-Сибиряка связана с пристрастием обоих писателей к охоте. В данном случае речь идет не только о специфической форме реальной жизненной практики (Пришвин в этой связи, например, признавался, что «охота с фотографической камерой» стала увлекать его «даже еще больше, чем с ружьем» [Пришвин, 1986, т. 4, с. 244]), но и о глубинной сущности самого творческого процесса — вплоть до отдельного жанра охотничьего рассказа, а также об особом характере, можно даже сказать, оптике художественного зрения, свойственного тому и другому писателю.

Объяснение принципов пейзажной живописи, и шире — самой философии природы, у Мамин-Сибиряка находим в автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко» (1894). По собственному признанию автора, их генезис и развитие обусловлены двумя факторами — изучением полотен известных живописцев и, что особенно важно, самой жизненной практикой охоты и охотничьих привалов.

«С каким удовольствием я проверял свои описания природы по лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы<sup>1</sup>. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 7, с. 64].

В малоизвестном рассказе «Ужасный случай. Из скитаний по Уралу» (1896) Мамин-Сибиряк дает очень точное понимание самой сущности охоты, что замечательно вписывается в известную традицию русской литературы, идущей еще от «Записок охотника» Тургенева:

---

<sup>1</sup> Об особом «чисто охотничьем чувстве природы» писал и Пришвин в своей книге-цикле «Неодетая весна» (фрагмент «Край дедушки Мазая): «Совсем неожиданно для себя я открыл, что чувство природы в литературе сказалась вполне оригинально только у тех, кто был охотником. У Льва Толстого, Мамин-Сибиряка и в особенности у Некрасова» [Пришвин, 1986, т. 4, с. 263].

«Как удовольствие — это вещь, без сомнения, жестокая, но для меня лично она всегда служила только предлогом для горных экскурсий. Что ни говорите, а без ружья вы далеко не пойдете, как бы ни любили природу; а затем, сами по себе, охотники — народ очень интересный: все охотники обладают *развитым чувством природы, известной поэтической складкой и наблюдательностью*» [Мамин-Сибиряк, 1912, с. 190].

С пристрастием к охоте у Пришвина и Мамина-Сибиряка связаны не только «развитое чувство природы» и особая поэтическая складка натуры, но и дар наблюдательности, свойственный пытливому очеркисту-журналисту, то «чувство родственного внимания», которое, как мы имели возможность убедиться, лежит в основе поэтической эко-диэтики. Приведем на сей счет характерное признание Пришвина из очерка «Жизнь человека», вошедшего в цикл «Башмаки (Исследование журналиста)» (1925):

«Обывателю его беседы даются даром, но ведь журналисту нужно в конце концов что-то сделать из этого материала; естественное внимание разбивается постоянным отбором материала, сочувствие человеку обрывается скукой, если он, как это бывает всегда, вдается в рассказе в ненужные подробности, или, наоборот, вдруг влечет какой-нибудь неожиданный оборот речи, явится страх, как бы не забыть его, и очень мешает вниманию. И самое ужасное, что в те минуты, когда или от скуки, или от наплыва мыслей, посторонних разговору, исчезает из сознания собеседник, — лицо журналиста должно оставаться обманчиво-внимательным и сочувствующим. Невозможно, совершенно немислимо всё это проделать, если не обладать *чувством родственного внимания к другому человеку*, не иметь в душе своей смутную надежду, что испытанием другой души раскроется и своя собственная, что *человеческие отдельности в конце концов только разные переживания единого в себе лица*» [Пришвин, 1986, т. 3, с. 460–461].

Как видим, принцип «Всё во мне, и я во всём» осуществляется у Пришвина не только в мире природы, но и в системе общечеловеческих отношений, предполагающих конвергентный (или диалогический) тип сознания. Что касается Мамина-художника, то он также известен многочисленными очерками, своего рода художественными «исследованиями журналиста», во многом продиктованными «чувством родственного внимания к другому человеку», своего рода стихийно-органической способностью к диалогическому стилю общения. При том что Мамин-Сибиряк не называл себя напрямую журналистом, предпочитая другую номинацию — очеркист, беллетрист, тем не менее, в своих очерках он выразил установку на конвергенцию сознаний, такое «испытание другой души», в ходе которого прояснялось, что это всё это «только разные переживания единого в себе лица», что, кстати, выразилось в известной формуле из романа «Черты из жизни Пепко»: «Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье!» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 7, с. 214]. Несомненно, подобная установка конвергентного типа сознания, проявившаяся в художественной практике Мамина-Сибиряка, не могла не сказаться в обосновании Пришвиным его собственной «науки родственного внимания».

### «Они чисты, как дети»: о жанрах детской хрестоматии

Третий и, пожалуй, самый значительный момент сближения Пришвина и Мамина-Сибиряка намечается в жанрах малой прозы, как правило, повествующих о природе и животном мире и на этом основании утвердившихся на страницах детских хрестоматий. Вот как в подобном отношении оценивал собственные произведения Пришвин:

«Из старых писателей Грибоедов чудесно сказал: „Пишу, как живу, и живу, как пишу“<sup>1</sup>.

Таков и мой идеал: достигнуть в словесной форме согласия ее с моей жизнью.

Больше всего из написанного мною, как мне кажется, достигают единства *со стороны литературной формы и моей жизни* маленькие вещицы мои, попавшие и в детские хрестоматии. <...>

Из-за того я их и пишу, что они пишутся скоро, и, пока пишешь, не успеешь надумать от себя чего-нибудь лишнего и неверного. *Они чисты, как дети, и их читают и дети, и взрослые, сохранившие в себе свое личное дитя*» [Пришвин, 1986, т. 2, с. 450].

Кстати, именно по этим, сформулированным самим Пришвиным, параметрам (минимизированный формат — «маленькие вещицы», целевая аудитория — «детские хрестоматии», стиль своего рода художественного целомудрия — ничего от себя «лишнего и неверного») он удивительным образом совпадает с Маминим-Сибиряком, автором таких ярчайших хрестоматийных рассказов для детей, как «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Постойко», «Приемьш», «Серая шейка», «Богач и Еремка», «Аленушкины сказки» и др.

Именно в этих произведениях свое наиболее яркое художественное воплощение нашли принципы интересующей нас поэтической эко-диэтики. В качестве доказательства приведем лишь один, но очень показательный пример: это очерк Пришвина «Лоси» из книги «Неодетая весна» (1940)<sup>2</sup>. Данный текст можно рассматривать как примечательную параллель известному рассказу Мамина-Сибиряка «Емеля-охотник» (1884).

Напомним, что в маминском тексте речь идет о старом охотнике Емеле и его внуке Гришутке, больном шестилетнем мальчике, мечтающем о телячке — маленьком олененке, обязательно желтеньком. Вышедший на охоту Емеля только на четвертый день выследил мать-олениху с телячком. «Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился, и удивлялся смелости своей жертвы» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 549]. Однако, припомнив, с каким героизмом защищала телячка его мать, равно как и мать Гришутки,

<sup>1</sup> Ср. в письме А. С. Грибоедова к П. А. Катенину, <первая половина января — 14 февраля 1825 г.>: «Я как живу, так и пишу свободно и свободно» [Грибоедов]. Удивительным образом данное признание почти дословно совпадает с уже известной нам максимой К. Н. Батюшкова из трактата «Нечто о поэте и поэзии».

<sup>2</sup> Данный очерк существует и в форме прозаической миниатюры как, по всей видимости, радикально сокращенный вариант специальной обработки для детей [Пришвин, 1981, с. 19–20]. В дальнейшем мы будем рассматривать именно этот «детский» вариант, дополняя его при необходимости указанием на более полный текст, входящий в цикл очерков «Неодетая весна» [Пришвин, 1986, т. 4, с. 308–311].

спасшая сына от волков своею жизнью («Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 545]), Емеля опустил ружье: «Точно что оборвалось в груди у старого Емели», «пожалел малого зверя... матку пожалел...» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 550].

Нравственно-педагогический смысл рассказа Мамина-Сибиряка сводится к победе нравственно-эстетического чувства (совести, сострадания всему живому, почти детского умиления) над законом природной необходимости. Писатель неслучайно подчеркивает обыденность охотничьей практики Емели — этого «записного охотника», который весь год, т. е. и зиму, и лето, «ходил в своей оленьей шапке» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 546].

Заметим, что и его внучок Гришутка, страдающий уже несколько месяцев затяжной простудой, укрывается «теплой оленьей шкурой» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 544]. Таким образом, практика охоты вызвана в мире маминских героев установившимся законом природной необходимости, элементарным способом борьбы за существование. Но Мамин-Сибиряк показывает, как наперекор этой жизненно-прагматической установке в душе героев торжествует чувство красоты и умиления, что неоднократно подчеркивается мотивом улыбки. Задумчивая улыбка первый раз появляется на лице старого охотника еще в лесу, сразу же после освобождения маленького олененка, потом она возвращается к герою при воспоминании о шустром олененке-бегуне. Прочувствованный, задушевный рассказ деда-охотника о спасении олененка в лесу вызывает веселый смех Гришутки. Наконец, показателен финальный диалог деда Емели и его внука:

«— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук...

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который *весело гулял по лесу со своей матерью*; а старик спал на печке и *тоже улыбался во сне*» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 551].

Мотив улыбки в тексте Мамина-Сибиряка задает эстетическую категорию умиления. В финальном фрагменте заложен даже некий парадокс: старик-охотник «тоже улыбался». Что означает это «тоже»? То ли дед улыбался вслед спящему ребенку Гришутке, а детскость в данном случае явно коррелирует с мотивом умиления? То ли улыбка идет в унисон весело гуляющему по лесу со своей матерью желтенькому олененку, который становится параллелью чудом спасенному от нападения волков мальчику Гришутке? Скорее всего, оба объяснения следует принять как равноправные. И обусловлено это именно «чувством родственного внимания», единством всего живого, «своеобразием каждого существа», говоря языком Пришвина. Во всяком случае ясно одно: то, что человек в определенной ситуации не уподобляется волчьей стае, действующей исключительно по законам природной необходимости, и составляет основу идейно-ценностной структуры рассказа Мамина-Сибиряка.

Что касается прозаической миниатюры Пришвина, а именно «детской» обработки очерка «Лоси», то он сохраняет диалогически-сказовую форму повествования, выдерживает даже функциональные роли персонажей: деда-сказителя (хотя здесь не про-

смачивается кровного родства, а только подчеркивается авторитетность возраста и опытности) и группы слушателей (опять же великовозрастной, но, как выясняется, не слишком знакомой с жизнью деревни и природы), от лица которой выступает и я-повествователь (не как нарратор, но как персонаж)<sup>1</sup>. Контрастность этих двух групп становится своеобразным провоцирующим моментом. Так, я-повествователь настаивает на безобразии лосей: «Огромные, а ножки тонкие, голова носатая, рога — как лопаты» [Пришвин, 1981, с. 20]. Дед-охотник, напротив, утверждает обратное: «очень хорошенькие», «один был особенно хорош» (об одном из детенышей лосихи), «только уж такие они хорошенькие» [Пришвин, 1981, с. 20].

Отметим несколько сюжетно-мотивных линий, по которым Пришвин в охотничьей истории с лосихой напрямую переключается со своим предшественником Маминым-Сибиряком. Во-первых, это подчеркивание мотива красоты, основывающееся на уподоблении природного зверя (будь то лось или олень) представителям человеческого рода. Так, говоря о матери-лосихе, охотник у Пришвина руководствуется результатом проведенного им эксперимента: «убежит она или не кинет детей?», «убежит она от детей или то же и у них, как у нас» (т. е., как у людей)? Оказывается, «у них, как и у нас», а потому сама лосиха и ее детеныши наделяются совершенно антропоморфными характеристиками: так, защищая своих лосят, мать-лосиха «так яро на меня поглядела», «и прямо на меня идет и яро глядит», тогда как сами лосята — «чисто дети», «долго играли, а когда наигрались, то к матке» [Пришвин, 1981, с. 20]. Мотив материнского подвига самоотвержения и подчеркнутая детскость и игривость детенышей (лосят и маленьких оленят) полностью совпадают в рассказах Пришвина и Мамин-Сибиряка. «Это был прехорошенький олененок» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 549] — данная характеристика практически без изменений переходит в текст прозаической миниатюры Пришвина.

Во-вторых, удивительно совпадают мотивировки поступков героев-охотников в обоих рассказах. Дед Емеля у Мамин-Сибиряка вооружен винтовкой, но опускает ружье в связи с охватившим его душевным волнением — жалостью к маленькому, незащитному животному. Дед-охотник у Пришвина также вооружен ружьем и, к тому же, острой (рыболовным орудием в виде вил с несколькими зубьями) и точно также не пускает их в дело: «Так вот и забыл, как всё равно мне руки связали. А в руке острога. Стоило бы только двинуть рукой» [Пришвин, 1981, с. 20]. В этом благородном движении души героя не останавливает и мысль о вкусном студне из лосятины: «Забыл и про студень!» [Пришвин, 1981, с. 20]. В финале рассказа Мамин-Сибиряка вместо питательной оленины, в т. ч. и как лечебного средства, за которым пускается в четверодневную охоту дед Емеля, также фигурирует лишь похлебка из глухаря.

---

<sup>1</sup> Иной представляется нарративная структура очерка «Лоси» из цикла «Неодетая весна». Основной рассказ в нем также приписывается деду Мазаю, но реплики я-повествователя частично распределены между другими персонажами — Петей (сыном) и Аришей (домработницей). В очерке комбинируется сразу же несколько историй деда Мазаю: помимо истории с лосихой и ее детенышами (исключительный предмет прозаической миниатюры) сказовому изложению подлежат еще два случая — со слепым лосем и поистине кровавая драма лосиного семейства, окончательно отвратившая деда Мазаю от убийства лосей.

## Заключение

В заключение акцентируем еще один возможный сюжет сопоставления, касающийся на этот раз двух автобиографических романов — «Черты из жизни Пепко» Мамина-Сибиряка и «Кашеева цепь» Пришвина. Известно, как высоко котировал маминский роман Пришвин, утверждая, что «в Пепко вскрывается внутренняя двигательная сила всего написанного Маминым», что «Пепко есть свидетельство, что Мамин — настоящий поэт, независимый от внешних условий» [Пришвин, 1990, с. 279]. По нашему предположению, маминский роман отчасти может служить объяснением одного из казусов, приключившихся с героем романа Пришвина.

В чем заключается данный казус? В дневниковой записи от 7 января 1932 г. и в связи с достаточно пессимистическими размышлениями об общественной природе человека (в противовес горьковскому оптимизму) Пришвин признается: «Да, лично-то нет вовсе людей (как в „Кашеевой цепи“: *героя нет — заяц герой*)» [Пришвин, 2009, с. 10]. В какой-то мере заострить приведенную дневниковую заметку позволяет достаточно парадоксальный, на первый взгляд, авторский пассаж из вступления к роману, в котором речь идет не просто о герое-зайце, но именно о «таинственном зайчике», тайна которого еще нуждается в специальном объяснении:

*«После того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем, но даже и личность в нем необязательна: он может просто, как зайчик, выйти посидеть на терраску, а из-за этого произойдут события грандиознейшие. Так бывает!*

*К сожалению, в этот раз мне всё-таки не удалось сделать вполне героем зайца; мало-помалу я с ним так сроднился, что дал ему черты мальчика, каким я сам был, хотя имя оставил ему всё-таки заячье: Курымушка.*

Некоторые из моих друзей, прочитав рассказы о Курымушке, однако совершенно не догадались, что *рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике*, и всё приняли как автобиографию и семейную хронику» [Пришвин, 1986, т 2, с. 7–8].

По сути, «таинственный заяц» в какой-то мере становится двойником самого героя, а возможно и автора — точно так же, как в маминском романе действуют одновременно два героя по фамилии Попов: сам автор-повествователь и его однофамилец по прозвищу Пепко. Да и сам эпитет, которым награждается заяц-герой, а именно — эпитет «таинственный» получает свое объяснение также во многом из маминского комментария в романе «Черты из жизни Пепко». Приведем этот многозначительный пассаж, в котором дается объяснение, почему «придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями»:

*«За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди, нужно их видеть именно живыми, чтобы писать. Это самый таинственный процесс в психологии творчества, еще более таинственный, чем зарождение какого-нибудь реального существа»* [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 7, с. 147].

Несомненно, что и «таинственный зайчик» Пришвина вводит нас в самую сокровенную глубину таинственного процесса психологии творчества.

Приведем одно характерное суждение Пришвина из его очерка «Край дедушки Мазая», вошедшего в книгу-цикл «Неодетая весна»:

«Тут же вот, читая поэму Некрасова [«Дедушка Мазай и зайцы»], я раздумывал о том, что если какому-нибудь зайцу выпадает доля спастись, не глядя на других, а совершенно по-своему, как ни один заяц никогда не спасался, то изучение такого зайца как индивидуальности и есть *путь родственного внимания*...» [Пришвин, 1982, т. 4, с. 265].

Примечательно также, что заяц выступает героем многочисленных произведений Мамина-Сибиряка: и «Сказки про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост», входящей в состав цикла «Аленушкины сказки», и рассказа для детей «Всех страшнее». Но, пожалуй, показательнее всего в этом отношении рассказ «Богач и Еремка» (1904) — лирически откровенная история о том, как профессиональный охотник (старик Богач) и его собака (по кличке Еремка) спасают и выхаживают раненного зайчишку, получившего прозвище Черное Ухо. Это рассказ о привязанности старого охотника, который всю жизнь занимался отстрелом зайцев, к маленькому и беззащитному существу, которое становится для него настоящим другом и приводит к кардинальному изменению устоявшейся на протяжении целых десятилетий ценностной картины мира.

Напомним в этой связи признание старого героя-охотника: «Уж если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, и подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка, — и только» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 660]. Писателю важно показать, как единичный случай спасения больного зайчишки, осмысленный с позиции совести, влечет за собой важнейшие и необратимые в нравственном отношении последствия — отказ от охоты вообще: «А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 667]. Сравнение зайчишки с «младенцем», который «по-ребячьи и плачет» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 664], а также с «человеком, который приготовился к смерти» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 660], получает наконец-то свое философское обоснование. В модусе сознания главного героя Богача это выглядит следующим образом: «Может, и в ём своя заячья душонка тоже есть, так, плохонькая совсем душонка» [Мамин-Сибиряк, 1955, т. 6, с. 667]. Данный рассказ Мамина-Сибиряка удивительным образом продолжает начатую еще «Емелей-охотником» проблемно-сюжетную линию «родственного внимания» к представителям природно-животного мира, утверждения ценности и своеобразия каждого существа «как индивидуальности», что, кстати, задает и важнейший ценностный контекст рассмотренного нами мини-рассказа Пришвина «Лоси».

Напомним, что данную статью мы начинали с провозглашения ведущего принципа поэтической диеты в изложении К. Н. Батюшкова: «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь». В романе «Кашеева цепь» в главке «Трудное признание» отметим удивительно схожую максиму Пришвина-писателя: «Скажу наперед, мне очень хочется, чтобы моя биография показала бы: я жил, как писал, и писал, как жил» [Пришвин, 1986, т. 2, с. 451]. Именно в этом, а также в «науке родственного внимания» и осознании всего окружающего мира как «великого Дома живых существ», как мы пытались показать, и состоит существеннейший корень персональной поэтической эко-диеты Михаила Пришвина и его предшественника на этом пути — Д. Н. Мамина-Сибиряка.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Батюшков К. Н. 1989. Нечто о поэте и поэзии // Батюшков К. Н. Сочинения: в 2 т. М.: Художественная литература. Том 1. С. 39–46.
- Грибоедов А. С. 1988. Сочинения. М.: Художественная литература. 751 с.
- Жуковский В. А. 2000. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки русской культуры. 840 с. Том 2. Стихотворения 1815–1852.
- Карамзин Н. М. 1964. Что нужно автору? // Карамзин Н. М. Избранные сочинения: в 2 т. М.–Л.: Художественная литература. Том 2. С. 120–122.
- Лермонтов М. Ю. 1975. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Художественная литература. Том 1. 648 с.
- Мамин-Сибиряк Д. Н. 1912. Рассказы и сказки: в 2 т. М.: Юная Россия. Том 1. 216 с.
- Мамин-Сибиряк Д. Н. 1953–1955. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Гослитиздат.
- Медведев А. А. 2019. Д. Н. Мамин-Сибиряк в дневниковой рефлексии М. М. Пришвина // Известия Уральского федерального университета. Гуманитарные науки. № 2 (187). С. 122–134.
- Пришвин М. М. 1981. В краю дедушки Мазая. Архангельск: Северо-Западное книжное издательство. 159 с.
- Пришвин М. М. 1982–1986. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Художественная литература.
- Пришвин М. М. 1990. Дневники / сост., предисл. и комм. Ю. А. Козловского. М.: Правда. 480 с.
- Пришвин М. М. 2009. Дневники. 1932–1935. Книга восьмая / подгот. текста Я. З. Гришиной; коммент. Я. З. Гришиной. СПб.: Росток. 1008 с.
- Пришвин М. М. 2010. Дневники. 1938–1939 / подгот. текста Я. З. Гришиной, А. В. Киселевой; статья, коммент. Я. З. Гришиной. СПб.: Росток. 608 с.
- Пришвин М. М. 2016. Дневники. 1950–1951 / подгот. текста Я. З. Гришиной, Л. А. Рязановой; коммент. Я. З. Гришиной. СПб.: Росток. 736 с.
- Тютчев Ф. И. 1965. Лирика: в 2 т. М.: Наука. Том 1. 447 с.

## References

- Batyushkov, K. N. (1989). Something about the poet and poetry. In K. N. Batyushkov, *Works in 2 vols.* (Vol. 1, pp. 39–46). *Khudozhestvennaya literatura*. [In Russian]
- Griboedov, A. S. (1988). *Works*. *Khudozhestvennaya literatura*. [In Russian]
- Zhukovsky, V. A. (2000). *The Complete Collection of Writings and Letters: in 20 vols.* (Vol. 2. 1815–1852 Poems). *Yazyki slavyanskoy kultury*. [In Russian]
- Karamzin, N. M. (1964). What does the author need? In N. M. Karamzin, *Selected Works: in 2 vols.* (Vol. 2, pp. 120–122). *Khudozhestvennaya literatura*. [In Russian]
- Lermontov, M. Yu. (1975). *Collected works: in 4 vols.* (Vol. 1). *Khudozhestvennaya literatura*. [In Russian]
- Mamin-Sibiryak, D. N. (1912). *Stories and Fairy Tales: in 2 vols.* (Vol. 1). *Young Russia*. [In Russian]
- Mamin-Sibiryak, D. N. (1953–1955). *Collected Works: in 8 vols.* *Goslitizdat*. [In Russian]

М. М. Пришвин и Д. Н. Мамин-Сибиряк...

- Medvedev, A. A. (2019). D. N. Mamin-Sibiriyak in the diary reflection of M. M. Prishvin. *Izvestia. Ural Federal University Journal*, (2), 122–134. [In Russian]
- Prishvin, M. M. (1981). *In the Land of Grandfather Mazai*. Severo-Zapadnoe knizhnoe izdatel'svo. [In Russian]
- Prishvin, M. M. (1982–1986). *Collected Works: in 8 vols*. Khudozhestvennaya literatura. [In Russian]
- Prishvin, M. M. (1990). *Diaries* (Yu. A. Kozlovskiy, Ed., Foreword, Comment.). Pravda. [In Russian]
- Prishvin, M. M. (2009). *Diaries. 1932–1935* (Ya. Z. Grishina, Ed., Comment.). Rostock. [In Russian]
- Prishvin, M. M. (2010). *Diaries. 1938–1939* (Ya. Z. Grishina, Ed., Comment.; A. V. Kiselyova, Ed.). Rostock. [In Russian]
- Prishvin, M. M. (2016). *Diaries. 1950–1951* (Ya. Z. Grishina, Ed., Comment.; L. A. Ryazanova, Ed.). Rostock. [In Russian]
- Tyutchev, F. (1965). *Lyrics: in 2 vols*. (Vol. 1). Nauka. [In Russian]

## Информация об авторе

Олег Васильевич Зырянов, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия  
o.v.zyrianov@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3327-8116>

## Information about the author

Oleg V. Zyryanov, Dr. Sci. (Philol.), Professor, Department of Russian and Foreign Literature, Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia  
o.v.zyrianov@urfu.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3327-8116>